

Михаил Кузмин

Набег на Барсуковку



Михаил Алексеевич Кузмин

Набег на Барсуковку

OCR Busya

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=311492

Михаил Кузмин «Стихи и проза»: Современник; Москва; 1989

Аннотация

Художественная манера Михаила Алексеевича Кузмина (1872–1936) своеобразна, артистична, а творчество пронизано искренним поэтическим чувством, глубоко гуманистично: искусство, по мнению художника, «должно создаваться во имя любви, человечности и частного случая».

Содержание

I	4
II	9
III	15
IV	22
V	26

Михаил Кузмин

Набег на Барсуковку

I

Не ладилось почему-то в этот день вышиванье у Машеньки, то в синее поле нанижет зеленого бисеру, то лилового в розы пустит, то желтый рассыпется, будто не прежние у нее были, проворные и искусные на ощупь, пальчики, а какие-то обрубки, набитые ватой. А между тем день был самый обыкновенный, такой же, как вчера, как третьего дня и, вероятно, как будет завтра, шестого августа, в день Преображения Господа нашего Иисуса Христа, когда будут святить яблоки и печь пироги с ними. Ведь и тревога, с которой Машенька смотрела из своего мезонина на расстилавшуюся за садом дорогу, была та же, что и прежде, ничего особенного в ней не было; отчего же синий бисер попадал в зеленый, а желтый сам рассыпался?

Вздыхнув, она отложила неконченным длинный кошелек с розами и незабудками и, опершись на локоть, стала просто смотреть на такую известную с детства ей картину: двор, сад, дорога за ним на пригорке, мельницы, еле видное озеро вдали. В тот день – ни солнечный, ни хмурый, с ленивым солнцем и редким дождем – все казалось таким обыкновен-

ным, что Марья Петровна Барсукова даже знала не только всех прохожих, но куда и откуда они идут, и зачем, и почему, — так что наблюдения могли приносить только удовольствие подтверждения, что Фекла идет со скотного на кухню, что Кузька бежит на погреб за квасом, потому что барин Петр Трифоныч, Машин отец, пробудился от послеобеденного сна, что старуха Марковна пронесла грибы к ужину. Все было ей отлично известно, и хотя неизменяемость явлений вносит известное успокоение в душу, но вместе с тем внушает и тягостное, безнадежное чувство, похожее на скуку.

Не только все прохожие были известны Марье Петровне, но даже звуки, источники которых не были доступны зрению, были ей так же известны, равно как их причины и назначение. Вот скрипнули ворота, впускают скот, который все ближе, ближе мычит и блеет, вот рубят котлеты на кухне, поют песни на выгоне, шлепают вальками на пруду, брат Илюша разыгрывает Гайдна в круглой гостиной, и скоро раздастся свист из-за куста сирени, свист, всегда ожидаемый и даже ожидаемый, но всегда заставляющий биться сердце и ланиты покрываться розами. После этого свиста всегда прибежит босою Феня, камеристка и наперсница Марьи Петровны, всегда с видом заговорщицы, с одним и тем же радостным ужасом на круглом лице. Прошепчет: «Свистят-с», на что Маша ответит: «Слышала; покарауль, Феня». Каждый раз девка промолвит: «Вот страсти-то, барышня! Попадемся Петру Трифонычу, быть мне поротой, а вам за косы драной»

– и стремглав нырнет в кусты, мелькнув голыми пятками.

И на этот раз только что раздался в кустах сирени еле уловимый свист, как на пороге появилась босоногая Феня, и диалог между барышней и служанкой повторился с неукоснительною точностью. И эта повторность слов и биения сердца, чувства страха и любви неказались скучными, а, наоборот, каждый день были новыми, небывалыми, неожиданными. Сама того не сознавая, Марья Петровна с ночи думала, засыпая, как лакомка, какой завтра найдет ее свидание, а она – Гришу Ильичевского: веселым, страстным, разочарованным, гордым, печальным, вздыхающим?

Путаясь в платье, цепляясь корзиночкой поверх гладко причесанных волос за низкие сучья деревьев, Маша достигла отдельной беседки с цветными стеклами и двумя входами; на потолке доморощенный художник воспроизвел «Аврору» Гвидо Рени со слов Петра Трифоныча, побывавшего в Италии и небесчувственного к искусствам.

Поставив Феню у входа, Марья Петровна не успела переступить порога, как была заключена в объятия высоким, плотным юношей, чей неподдельный румянец, белейшие зубы, непокорные русые волосы и наивные серые глаза свидетельствовали о нестоличном его происхождении. Отдав дань первым восторгам невинного свидания, влюбленные, не разнимая рук, опустились на банкетку. Девушка склонила свою голову на плечо юноши, а тот ее спрашивал дрожавшим от волнения голосом:

– Не говорила еще с батюшкой?

– Возможно ли? Так полагаю, что скорее жизни лишит, чем согласится. Я даже братцу Илюше не решаюсь открыться.

– Этому нет необходимости: чем меньше народа знает, тем крепче тайна хранится. Но не унывай, у меня знатный, хотя и дерзкий, план созрел. Бог поможет, удастся, и ничто нас тогда разъединить не сможет, будь только ты храбра и доверься мне.

– Можешь ли сомневаться в этом, Гришенька? – спросила Марья Петровна, глядя с упованием и любовью в наивные и открытые глаза своего возлюбленного, где читалось простодушие, чистота и покорность, но никак не знатный и смелый план, о котором говорил Григорий Алексеевич.

Крепко сжав руку девушки и помолчав, тот деловитым и таинственным голосом продолжал:

– Никаким росказням и слухам не верь, что бы про меня ни говорили. Вид подавай, что веришь, сердцем же не верь. Через Василья извещать буду, что делать, делай беспрекословно, слушай его, как Святое писание. Ко всему будь готова и помни, что ничего худого не произойдет. Больше покуда ничего не скажу.

Маша крепче прижалась к молодому человеку и начала печально:

– Хоть бы один конец, Гришенька! не в силах я томиться; каждый день до твоего свиста ровно в лихорадке горю, сего-

дня даже вышивать не могла, весь бисер перепутала.

– Дома-то не замечают?

– Наверное, нет. Батюшка спит да по хозяйству кричит, а Илья что? книжки читает, гуляет, да на клавире наигрывает... когда и я пою... но беседует со мною мало. Скоро осень!

– Грибов очень много: видал, проходя.

– Каждый день кушаем. Просилась с девками – не пустили.

В это мгновение в отверстие двери просунулось круглое лицо их верного сторожа, и, махая рукой, Феня заговорила громким шепотом:

– Барышня, к ужину ищут, совсем недалече!

Крепко обняв Машеньку и прошептав ей на прощанье:

«Будь готова, друг мой, не унывай!» – Григорий Алексеевич вышел через другую дверь и скрылся в кустах, меж тем как Марья Петровна в сопровождении своей босоногой камеристки, не спеша, будто гуляя, пошла навстречу казачку по направлению к дому, откуда слабо доносились менуэты Гайдна, словно шипенье самовара, и где на балконе темнела по вечернему небу тучная фигура батюшки, Петра Трифоновича Барсукова.

II

Покойный отец Григория Алексеевича Ильичевского был связан узами непримиримой вражды с соседом своим Барсуковым. Были забыты причины этой распри, восходившей еще к их дедам и заключавшейся, вероятно, в каком-нибудь неподделанном куске земли, чужом скошенном луге, перенятом медведе или тому подобных, на наш взгляд, пустяках, считавшихся кровными обидами. Все это было забыто, и перешла ко внукам только глухая и непримиримая вражда, распространившаяся и на сына Ильичевского, Григория Алексеевича. Их фамилия не упоминалась иначе как в соединении с более или менее нелестными эпитетами вроде «каналы, мошенники, фармазоны», и даже в горнице Машеньки имя Ильичевских не произносилось, а назывался только Григорий Алексеевич, и мечтали только о Гришеньке, забывая, гоня от себя мысль, что он – Ильичевский.

Марья Петровна не опоздала к ужину, так что ее отсутствие не было замечено; впрочем, она вообще пользовалась известной привилегией сельской свободы, которая более, чем в столицах, допускает прогулки молодым девицам, предполагая, что природа и деревенское разнообразие развивают мечтательность, полем действия которой, конечно, естественнее служит сад и даже поля и рощи, чем комнаты с кисейными занавесками и лежанками. Притом постоянным за-

щитником свободы являлся брат Машеньки, Илья Петрович, петербургский студент, поклонник Руссо и англичан, изрядный музыкант, что особенно ценилось его отцом, который, как мы уже сказывали, не был бесчувствен к искусствам. Хотя отец не понимал Бетховена, а предпочитал Россини, увертюру которого к «Елисавете», впоследствии вставленную в «Севильского цирюльника», часто насвистывал, и находил, что Улыбышев прав в своем суждении о Бетховене, – однако он охотно прислушивался к сухой игре сына, когда тот исполнял «немцев» в круглой гостиной, лишь временами в угоду отца рассыпая шипучие брызги «Итальянки в Алжире» или «Сороки-воровки». Отец не соглашался, но любил и думал о меланхолическом огне, оживлявшем его уединенного и мечтательного сына. Машенька занималась искусством только для домашнего обихода, играла в четыре руки, что полегче, запинаясь и считая вслух, или пела романсы девятидесятых годов под гитару; бабушкина арфа стояла немая в углу и просыпалась только под метелкой казачка, убиравшего комнаты. Рукодельничала Марья Петровна тоже неохотно, вот уже четвертый месяц вышивая бисерный кошелек Гришеньке, рассыпая бисер и путая цвета; хотя досуг и не развил в ней видимой мечтательности, но в глубине души она ждала трагических или жестоких приключений, с восторгом слушая рассказы Фени, как у соседних староверов умыкали девиц, как мужья тиранили неверных, а иногда и верных жен, и, хотя уже и в то время такие приемы были лишь профор-

мой и купеческие женихи отлично знали, что тятеньки умываемых ими невест гнались за ними с допотопными ружьями только для соблюдения обряда, – тем не менее рассказы эти волновали барышню Барсукову глухим и тяжелым волнением. Потому неясные слова Григория Алексеевича поразили ее радостною тревогою, и, смотря в его серые глаза, она читала там не простодушие и покорность, а удаль и любовную отчаянность. Может быть, если бы даже Гришенька не был врагом Петра Трифоныча и не приходилось терпеть за себя и за него, сидя в проходной беседке с «Авророй» Гвидо Рени на потолке, – может быть, не так дорожила бы Машенька этими минутами, не так ждала бы знакомого свиста, не так путала бы бисер. Сама наружность ее казалась приготовленной скорее для умычек, побоев, отравлений постылого мужа, чем для томных воркований под арфу. Лицо у нее было круглое, несколько широкое, глаза бойкие и упрямые, волосы густые, брови почти срастались, подбородочек упорный, шея, как точеная балясина.

Ужин близился к концу, и Петр Трифоныч рассказал уже все хозяйские новости и поспорил, о чем полагается, с Ильей Петровичем, как вдруг казачок вошел в горницу и положил прямо перед прибором хозяина небольшую книжечку в кожаном переплете.

– Это что такое? – с недоумением спросил тот.

– Извольте сами взглянуть, – был ответ.

Старик взял книжечку, повертел и, густо покраснев, снова

сурово спросил:

– Где взял?

Блестя глазами и предчувствуя историю, казачок ответил:

– В беседке, когда барышню кликал к ужину.

Петр Трифоныч еще бы побагровел, если бы это было возможно. Мельком взглянув на дочь, он спросил, будто не у нее:

– А что же Марья Петровна изволила делать в той беседке, где потом находятся такие знатные находки?

Машенька ответила не совсем твердо, силясь рассмотреть или, по крайней мере, догадаться, что это за книга, возбуждавшая такой гнев у отца.

– Ничего особенного: гуляла с Феней до ужина.

Старик поднял толстый указательный палец кверху и сказал, будто рассуждая:

– Что, сударыня, называть особенным и не особенным? Для меня чрезвычайно особенно, в высшей мере особенно то обстоятельство, что после твоей прогулки, ничего особенного не представлявшей, в том же самом месте находят книгу, где напечатано: «Из библиотеки г-д Ильичевских». Я не могу найти никаких натуральных объяснений сему явлению.

– Книга могла быть там обронена значительно раньше, – заметил Илья, но казачок, опуская веки на слишком заблестевшие глаза, вымолвил:

– Нам сначала невдомек. Но как барышня Марья Петровна вышли-с, слышно, в кустах шабаршат. Как ветру, сами

изволите знать, не было, мы подумали: вор. Видим, человек бежит, нагибается, и на ступеньках книжка оставленная.

– Ты слышишь, Марья? – сказал Петр Трифоныч, не выпуская несчастного томика из рук.

– Конечно, слышу: я не глухая.

– Грубить? Что же ты скажешь на это?

– Спросите у Кузьки: очевидно, он всех более знает, что случилось. Во всяком случае, более, чем я.

– И спрошу, у всех спрошу, а пока не узнаю, тебя посажу, сударыня, под замок.

– Подумай, отец, прилично ли благородного человека, свою дочь, лишать священного права человечества – свободы? – вступился было Илья, но Петр Трифоныч, запахнувшись в стеганый халат по-домашнему и не выпуская книги из толстых пальцев, громко закричал:

– Нет уж, гуманность гуманностью, но когда замешан Ильичевский, всех Руссо и Бетховенов к черту посылаю, так и знай.

Марья Петровна встала решительно из-за стола и, прямо глядя из-под сросшихся бровей на отца, произнесла спокойно и внятно:

– Ты можешь не спрашивать об этой книге ни у кого из двора. Эту книгу, очевидно, выронил из кармана Григорий Алексеевич, с которым я выдаюсь и которого люблю душевно.

Петр Трифоныч долго молчал, потом расшаркнулся и

произнес:

– Благодарю покорно.

Но Машенька не слышала, вероятно, этих слов, потому что, сказав про Ильичевского, она молча все склонялась и склонялась, пока не упала на ближайший стул. Все переполошились, побежали за водой. Петр же Трифоныч шепнул казачку Кузьке:

– Беги до Марковны, пусть посмотрит: не брюхата ли грехом; от этих каналов все станется.

III

Барсуков исполнил свою угрозу, посадив Машеньку под замок, что было тем более тягостно, что было совершенно неизвестно, когда этот затвор кончится, так как расследовать причины появления книги Ильичевского в беседке не было смысла после Машенькиного признания, следовательно, что же? Ждать, когда он окончательно разделается, уничтожит Григория Алексеевича, или что? К счастью, после того, как Марковна дала самые утешительные сведения о состоянии барышниного здоровья, к Марье Петровне стали допускать Феню, следовательно, можно было поддерживать сношения с внешним миром, то есть узнавать, как сердится и что, по видимому, готовится предпринять отец, и ничего не узнавать о том, о другом, судьбой которого, конечно, она больше интересовалась, нежели своей собственной. Будто ему кто сказал, какое несчастье произошло в Барсуковке: он не свистал, в беседку не приходил и никаких тайных гонцов не присылал. Всякий раз, что приходила Феня, она говорила все те же самые малоутешительные новости: не свистели, не приходили, Ваську не присылали.

Только на пятый день вестница явилась с сообщениями, еще более смутившими и без того смущенную Марью Петровну. Феня говорила нечто до того странное, что, только памятуя последние наставления Гришеньки, барсуковская ба-

рышня не впала в окончательное отчаяние.

Будто бы появилась шайка разбойников и даже с пушкой, которые напали на именье Ильичевских, причем молодой барин не то убит, не то в плен взят: во всяком случае, пропал неведомо куда. Что бы стала делать запертая Машенька, если бы не помнила слов: «Никаким рассказням и слухам не верь. Вид подавай, что веришь, сердцем же не верь»?

Но были ли это просто те слухи, которым нельзя было верить, или могло случиться то, чего не предвидела простодушная голова молодого Ильичевского? Так что героиня наша не только подавала вид, что огорчена и смущена, но и на самом деле смутилась и огорчилась в глубине своего мужественного, но нежного сердца.

Дома все, казалось, оставалось покойно и без перемен; так же доносился стук ножей и вилок из буфетной и менюэты Гайдна из зала, те же люди проходили мимо окон Машеньки, как будто на Ильичевских не нападали таинственные разбойники, не пропадал Гришенька (в плену? убит?), не была заперта его возлюбленная. Вести о разбойниках принес не Василий, а появились они неизвестно откуда, так что и здесь даже нельзя было судить и определить, с ведома ли Григория Алексеевича распускаются такие слухи. Или действительно с ним произошло то, что вовсе не входило в программу его поступков.

Петр Трифонич в пылу гнева сначала хотел на следующее утро поехать к соседу и избить его, «как щенка», но, поду-

мав и поговорив с сыном, решил стреляться с Ильичевским, так как последний, хотя «каналья и масон», был дворянин тем не менее и не подобало унижать благородного звания. А тут как раз подоспели вести о разбойничьем нападении и исчезновении Григория Алексеевича. Как проникли эти слухи в Барсуковку, было никому не известно, но на следующий день было обнаружено подметное письмо на балконе, которое гласило: «Мы не жаждем крови вашей и жизни, мы хотим лишь, не дожидаясь небесного Правосудия, восполнить от вашего избытка то, чего лишены мы несправедливостью человеческих законов и случайностями фортуны. Посему во вторник ждите нас мирно и без страха, не оказывая сопротивления и предоставляя нам все ключи от комнат и сундуков, ларей и столов. Не следите за нами и мирно продолжайте ваши занятия или молитесь, в противном случае мы не можем уверить вас, что не прольется кровь, каковое дело считаем низким и бесчестным. Не думайте противостоять нам, ибо имеется у нас достаточно ружей, рук и пушек, чтобы достичь желаемого, какой бы то ни было ценой. Ваши руки ослабли, сын ваш не привычен держать оружие, дворня же распущена и склонна к предательству. Говорим вам все это, жалея ваши лета и не желая насильственным путем поправлять ошибки судьбы. Но мы не остановимся ни перед чем».

Написано это было грамотно, хотя и каракулями, на синей оберточной бумаге, мелом.

Тот же казачок принес это послание вместе с утренним

чаем еще не встававшему по случаю праздника барину.

– Это что?

– Извольте прочитать, на балконе оставлено.

Петр Трифоныч, прочитав, помолчал, затем сказал тихим голосом:

– Позвать сюда Илью Петровича.

А пальцы его барабанили Преображенский марш, что всегда свидетельствовало о величайшем его волнении. Когда Илья Петрович переступил порог спальни, отец продолжал находиться в том же мрачном и молчаливом возбуждении.

Молча передал он сыну синий клочок, и, только когда тот, прочитав, поднял вопросительно глаза на отца, старик Барсуков тихим голосом спросил:

– Что скажешь, сударь?

– Я плохо понимаю, отец; написано это грамотно, но мысли несколько странные и смелости рискованной.

Петр Трифоныч вдруг вскочил с постели в одном исподнем и заорал:

– Неслыханная наглость! Необычайная! Мне, Петру Барсукову, отставному полковнику лейб-гвардии Преображенского полка, получать такие цидулки?! Что я: человек, или пугало воронье? Нашли простака! Грамотно! я им покажу грамотно! вилами до околицы не допущу, сам из двух ружей стрелять буду! Грамотно!

Илья слушал молча, не ища логики или благоразумия в словах отца. Затем, подняв бледноватое лицо свое, спокойно

заметил, слегка скривив губы:

– По сердцу и по рассудку сказать: гораздо больше варварства я вижу в твоём, отец, благородном негодовании, нежели в письме этих бродяг и разбойников, каковыми ты их считаешь. Ты жаждешь кровопролития и подвергаешь опасности жизнь близких тебе людей, они же, конечно, совершают насилие, но бескровное и, может быть, действительно лишь для восстановления поправленных прав своих.

Петр Трифонович опустил на кресло и, сжимая синий лист, тихо произнес:

– Теперь я вижу, что в одном злодеи правы: не только в ленивой и распутной челяди – в родном сыне своём предателя обретаю.

Затем, почти без шума поднявшись, что было особенно удивительно при его тучности, вышел, хлопнув дверью. Илья последовал за ним в проходную, догнал и, взявши за рукав рубашки, сказал с очевидным волнением, столь несвойственным его философическому поведению:

– Отец, прости, если я тебя обидел, но размысли несколько – и ты убедишься, что я прав.

Не оборачиваясь к сыну и продолжая шествовать в одном белье, старый Барсуков лишь буркнул:

– Пойду говорить с теми, кто лучше сына понимать меня может.

И как Илья Петрович все держал рукав отцовской рубахи, тот сильно рванулся и вышел на черное крыльцо, так что сын

поспел только послать ему вдогонку: «Подумай о Машеньке», на что ответа не последовало. Илья горестно пожал плечами и сел за Гайдна, не смотря, как к крыльцу стала стекаться «ленивая и распутная» дворня, почесывая животы и космы густых волос.

Но когда под вечер он читал в третий раз «Эмиля», мечтая о правильном воспитании своих будущих детей, скрипнула дверь, и боком вполз Петр Трифонович, имея вид сконфуженный и убитый. Молча он сел у шифоньеры, так что уже сам Илья Петрович, видя отца неразговорчивым, задал ему вопрос:

– Ну, что же сказали тебе люди, которые понимают тебя лучше родного сына?

Отерев пот с лица большим фуляром, старик заговорил с неожиданным и внезапным воодушевлением:

– В первый раз такая оказия со мной случается. Как горько мне, Илюша, – видит Бог, но ты оказался совершенно правым. Что им, тунеядцам, честь моя и мое добро?! Запороть их всех мало, но, зная неприятеля близким, не осмеливаюсь. Претерплю, но зато покажу им, канальям, кузькину мать! Узнают, негодяи, как труса праздновать и хозяйское добро не беречь!

Потом он так же неожиданно заплакал и, склоняясь тучным телом на плечо своего хилого сына, прошептал:

– Не чаял дожить до этого, свет. Тот неловко обнял отца и спросил:

– Ты решил поступать, как я советовал... просил?

– Да, но какво мне это?

Помолчав, Илья сказал утешительно:

– Конечно, минуты неприятные, но унижительного в этом ничего нет. Это не в твоей власти, как не в твоей власти остановить вывеску, которая валится тебе на голову. Кто же может тебя винить за это? И сам ты этого делать никак не можешь. Можно ли обижаться на простолюдина, что он сморкается в руку, когда у него нет носовых платков и когда он с детства так воспитан? Что же спрашивать с грабителей?

Петр Трифоныч слушал рассуждения сына, не подымая головы и громко всхлипывая.

IV

В назначенный разбойниками вторник вся Барсуковка с раннего утра ожидала набега. Петр Трифоныч, нарочно для пренебрежения одетый в старый халат, потребовал себе все ключи и сидел в круглой зале, читая календарь за 1811 год, а Илья Петрович здесь же перелистывал «Эмиля». Машенька оставалась запертой и казалась непричастной общей ажитации. Наконец, часов около одиннадцати, казачок Кузька, блестя раскосыми глазами, прибежал впопыхах и почтительно, несмотря на катастрофичность момента, доложил:

– Около амбаров едут.

– Мерзавцы! – выругался барин и добавил: – Много?

– Четыре телеги; человек тридцать. Тройками.

– Пушка есть?

– Имеется!

В молчании прошло еще с полчаса. Наконец тот же Кузька ввел в залу человек пять мужчин, одетых по-крестьянски, с бородами и без бород, все с пистолетами и масками на лицах. Молча передал Петр Трифоныч поднос с ключами выделившемуся вперед молодому, высокому мужику. Тот молча же поклонился, прибавив явно деланным басом:

– Возвратим в целости.

– Черт бы тебя побрал, – ответил Барсуков. Илья Петрович, заложив пальцем страницу книги, поднял близорукие

глаза, ожидая ссоры, но мужик, ничего не сказав, взял все ключи и пошел внутрь дома, оставив у дверей стражу с заряженными пистолетами, курки которых были взведены.

Когда непрошенные гости удалились, молчание снова воцарилось в круглой зале, и было странно видеть массивную фигуру Петра Трифоныча с багровым пятнами лицом, сидевшую за тем же календарем на 1811 год, и сутуловатого философа, изучающего «Эмиля», меж тем как по верхним половицам были слышны тяжелые шаги, а у дверей стояли бородатые мужики с ножами за поясом, с пистолетами, курки коих были взведены у всех на глазах и с масками на неизвестно каких лицах.

Нельзя особенно винить людей барсуковских, что они так равнодушно и даже скорее сочувственно в пользу неизвестных грабителей отнеслись к опасности, грозившей не жизни, а лишь благосостоянию их господ. Некоторые старики, от которых мало было бы проку, выражали готовность положить свои дряхлые животы за барское имущество, но, кто помоложе, сочувствовали более удали пришельцев, даже не из ненависти к рабскому игу, а просто из озорства или в надежде получить если не наживу, то угощение от своих же братьев простолюдинов, каковыми они с известным вероятием считали разбойников. Перспектива неизбежного наказания представлялась им в таком отдалении, что не могла перевесить удовольствия невиданного зрелища или даже опасности, которой могла подвергнуться их жизнь в случае во-

оруженного столкновения.

Через известное время, когда первые три тройки прозвонили уже, отъезжая, в круглую залу вошел другой мужик, поменьше и с бородой, внес поднос с ключами и, возвращая его Петру Трифону, промолвил высоким тенорком:

– Извольте пересчитать, сударь.

Тот неспешно пересчитал ключи и сказал:

– Черт бы тебя побрал, – будто разучившись другим, более сильным нелюбезностям.

Тот махнул рукою и вышел, за ним удалились те, что стояли у дверей, и последняя подвода съехала со двора. Тогда Петр Трифону разразился отборными ругательствами, получив утерянный на время дар слова, и пошел осматривать порчи, нанесенные его благосостоянию приезжими. К удивлению, почти все осталось нетронутым, и взято было так мало и таких нестоящих предметов, что могло считаться, что ничего не было взято. Не было конца догадкам о глупости разбойников, пока не пришло время ужина, потому что, когда понесли кушанья барышне и отомкнули двери, то горницу нашли пустою. Когда доложили об этом старому барину, он впал в необычайную ярость и, хлопнув себя изо всей мочи по лысому лбу, воскликнул:

– Ах я, пугало воронье! Сам ключи выдал мерзавцам, фармазонам, Гришке Ильичевскому, – и, не dokonчив даже бараньего бока, сам самолично отправился в погоню, хотя Илья Петрович и доказывал ему, что в пять часов, которые

прошли со времени отъезда последней тройки до сей минуты, можно было так далеко заехать и так далеко зайти, что никакие погони не помогут.

V

Марья Петровна с первых моментов, как неизвестные маскированные люди открыли дверь в ее спальню и она убедилась, что действительно существуют разбойники, а следовательно, справедливы все слухи об исчезновении Ильичевского, впала в бесчувственное состояние и так пребывала до тех пор, пока не открыли ей завязанного рта на отдаленном от Барсуковки постоялом дворе. Вместе с возвратившимися к ней чувствами к ней вернулось и сознание, что вот Гриша ее навсегда потерял, отец и брат, быть может, умерщвлены злодеями и сама она находится, конечно, между двух ужасных жребиев: быть убитой или опозоренной. В избе сидело двое замаскированных разбойников, хозяйка двора возилась у печи, да пищал младенец в зыбке. Марья Петровна жалостно вздохнула, обзрела в тоске двери, низкие окна, людей во дворе, выпрягавших лошадей, и, видя, что на бегство нет никакой надежды, начала, обращаясь к мужикам:

– Чего вам надобно от меня, братцы? Зачем томите? Если жизнь моя – что же вы медлите? Если позор мой, то знайте, что только с мертвой сможете вы сделать то, что замыслили! Прошу вас об одном – вонзите мне в сердце этот нож! Родные мои, наверное, умучены вами, жених мой Гришенька от вашей руки пал – поспешите же соединить меня с ними!

Видя, что те безмолвствуют, – только дворничиха заслу-

шалась ее, подперев ладонью щеку, – Марья Петровна снова начала с большим воодушевлением:

– Может быть, вы ждете за меня выкупа, но кто же его даст, раз все, кому я была дорога и кто был дорог мне, погибли? Довершайте ваш удар, лишайте меня немедленно этой несчастной и несносной жизни. Ах, Гришенька, радость моя, был бы ты около меня, ничего этого не приключилось бы! – и она залилась слезами, упавши на стол.

Тогда один из сидевших подошел к девушке и сказал ей тихо:

– Барышня Марья Петровна, не убивайтесь так; Григорий Алексеевич сейчас сюда будут и все вам разъяснят.

– Как он придет с того света и почему я буду тебе верить, душегубу?

Он снял маску и, улыбаясь безбородым лицом, промолвил:

– Я – Василий, барышня, неужто не признали?

Но затуманенные глаза Марьи Петровны плохо видели Василия, которого она и прежде-то еле знала в лицо. Покачав сомнительно головою, она задумчиво произнесла:

– Откуда прийти ему?

В эту минуту двери распахнулись, и высокий мужчина в маске, низко нагибаясь, бегом бросился к пленнице и заключил ее в объятия. Марья Петровна пронзительно крикнула, но тотчас смолкла, так как маска упала и она увидела близко от своего лица простодушный облик Григория Алексеевича.

Отстранив его несколько рукою, она заговорила:

– Как, ты жив, не погиб, не в плену? Что же это все означает: где мой отец и брат, почему эти маскарады и почему я здесь?

– Чтобы быть со мною, навсегда со мною, милая моя! Иначе ничего нельзя было сделать!

– Так что нападение, разбойники, кровопролитие...

– Все обман, все одна видимость, радость моя! Но спеши, священник ждет нас, надо поспешить, пока родитель твой не отыскал нас.

– Пойдите, не будьте так поспешны, Григорий Алексеевич; я вовсе не собиралась за вас замуж, особенно после таких событий.

Ильичевский смотрел растерянно: не он ли все так остроумно и рискованно устроил, и что же, что нужно этой непонятной девушке?

– Но, Машенька, что же случилось? Родные твои живы и невредимы, я остался по-прежнему верен тебе и своим клятвам, ничего не стоит между нами, что же тебя может удерживать?

Марья Петровна долго сидела задумавшись, наконец подняла на Ильичевского заплаканные глаза свои и, будто с трудом выговаривая слова, молвила:

– Но вы забыли, Григорий Алексеевич, что я почувствовала за это время: ведь взаперти, там я считала вас убитым и оплакала вас, теперь я считала, что жизнь моя и то, что

дороже жизни, подвержены неминуемой опасности, что родные мои погибли, – все это, не бывшее на самом деле, для меня существовало в действительности, все это я пережила, как правду, и удивляюсь, как я жива осталась, что же удивительного, что и чувства мои несколько изменились?

Григорий Алексеевич слушал так, будто Машенька говорила по-испански; наконец, тряхнув головой, он твердо вымолвил:

– Конечно, ты в расстройстве, радость моя; я прошу прощения, если доставил тебе беспокойства, избежать которых было невозможно, но я полагаю, что чувство любви усидчивее воробья, скачущего с ветки на ветку, и потому не отчаиваюсь в своем счастье. Теперь же я пойду говорить с твоим отцом, который приехал; я не хочу говорить при тебе, чтобы не расстраивать тебя еще больше и чтобы дать тебе время собрать рассеянные чувства.

С этими словами он вышел, и Машенька осталась одна. Неизвестно, собирала ли она свои рассеянные чувства и о чем она думала, когда недвижно просидела все долгое время, пока враги-соседи объяснялись. Такою же неподвижной пребывала она, когда в избу вошли Петр Трифоныч, Илья Петрович и Ильичевский. Веселым голосом старый Барсуков заговорил:

– Ну, Марья, видно, быть не по-вашему и не по-нашему, а выходить тебе за Ильичевского.

– Я не пойду, – тихо ответила Машенька.

Отец оглянулся, будто ослышался, потом заорал:

– В беседки бегать, на постоянных дворах сидеть обнявшись – это твое дело, а под венец идти – нет? Плетью погоною! Даром, что ли, я с ним, еретиком, помирился?

– Он обманщик, – еще тише молвила Маша.

Старик рассмеялся:

– Слышали это! Машкарадом недовольна? Так что ж ты хочешь, чтобы все мы были перестреляны, а ты у разбойников в лапах сидела? Так суженый твой, поверь, и так разбойник изрядный.

Тогда выступил Григорий Алексеевич, взял Марию Петровну за руку и сказал:

– Неужели за минуту необходимой хитрости ты забыла все клятвы, поцелуи, сладкие часы любви – все, все? Верным другом и рабом буду я тебе. Неужели сердце в тебе одеревенело? – И он заплакал.

Петр Трифонич отвернулся к окну, а Машенька наклонилась к плачущему жениху и сказала:

– Конечно, я люблю тебя по-прежнему и женой твоей быть согласна, но ах, зачем все это приключение – не более как маскарадная шутка?